

ГОРЬКИЙ В ТЕАТРЕ

В художественных материалах, не вошедших в собрание сочинений М. Горького, сохранился рассказ о том времени, когда Горький—подросток в поисках своего места в жизни, решил испытать счастье на службе в театре. Происходило это в Нижнем, в начале 1880-х годов.

... Лет пятнадцать я чувствовал себя на земле очень не крепко, не стойко, все поло мною как будто покачивалось, проваливалось, и особенно смущало меня незаметно разлившееся в груди чувство нерасположения к людям.

Мне хотелось быть героем, а жизнь все мои головами своими вдувала:

— Будь жуликом, это не менее интересно и более выгодно.

Но, жульничать мешала органическая бравадность, неизвестно как и откуда зававшая в сердце.

... В это время трагичный певец Клецов, человек невзрачный и неприятный, внушил мне беспокойную мечту. Он, несомненно, обладал таинственной и редкой силой заставлять людей слушать себя, его песни были милым голосом другой жизни, более приглядной, чистой, чуждой. Тогда я вспомнил, что ведь и мне в школьной мастерской, на ярмарке среди рабочих, удавалось иногда вносить в жизнь людей нечто приятное им и удовлетворяющее меня.

Может быть, мне действительно надо идти в театр, в театр,—там я найду прочное место для себя?

Я решил попробовать, и—вот я статист в огромном театре на ярмарке, получаю двадцать копеек за вечер и учусь быть титаном и чертом в пьесе «Христофор Колумб».

Красное, кирпичное здание театра снаружи неприятно похоже на амбар,—внутри оно вызывало чувства темные, гнетущие.

Помню, как по просторной, полуосвещенной сцене, против черной дыры, наполненной сырым мраком, толстый человек, бешено ругаясь, гонял нас, ку-

чу мальчишек, из угла в угол, точно пастух баранов, и визжал:

— Крокодилы дохлые,—убьете вы меня!

Мне казалось, что он притворяется,—вет у него причин сердиться на нас и бить нас по ногам длинной, тонкой палкой, мы бы лучше поняли, чего он хочет, если бы он говорил просто и спокойно. Но он суетился, хватал себя за круглую, как арбуз, голову и ныл, орал:

— Какие же вы индейцы? Вы—свиньи, а не индейцы! И какие вы черти? Медведи вы, а не черти!

... Я читал об открытии Америки, и черти казались мне типичными в этом событии.—Визжала Прескотта не упоминала о них. Я читал Майн Рида, Эмара и, думая, что имею представление о краснокожих, старался ходить по сцене так, как ходят американские индейцы в книгах этих знаменитых писателей. Но мои попытки раздражали учителя, он ускоренно кричал:

— Послунай ты, длинный, окаляный сухарь, смычок, жердь вавилонская,—что у тебя пятки подрезаны, а? Ты по битому стеклу ходишь? Убьешь ты меня, бессовестная фигура!...

На спектакле я все-таки ходил так, как, по моему мнению, должен был ходить настоящий, порядочный индеец, и усердно тыкал деревянным острым копыем в животы неуклюжих испанцев. Это очень веселило людей за кулисами, по поминкам режиссера все-таки был недоволен мною.

— Послунай, диван с пружинами,—сказал он мне в антракте,—если ты будешь качаться во все стороны, я тебя швырну в омут!

А тут еще подошел пышно одетый испанец, человек близкий самому Колумбу, и пожаловался на меня:

— Я этого верблюда проткнул насквозь швагой, а он—хоть бы что, даже не пошатнулся! Чудесно вы обучили их, милый мой!...

Среди испанцев, чертей и краснокожих спокойно рассказывали обыкновенные русские люди, обыкновенные женщины; одна из них, маленькая и вся в черном, точно монахиня, сказала испанцу:

— Егор, ты поминишь Туду?

Я чувствовал себя нелепо, где-то между спом и явью. Расширяясь во все стороны,

передо мною плавал огромный черный мешок, тесно набитый головами людей, точно лыжнями. Эти бесчисленные головы казались мне слепыми, лишь кое-где, на крупных пятнах лиц тускло светились ненужные глаза. Из мешка на сцену вливался запах теплой сырости; иногда, среди жуткого молчания, был слышен кашель, шарканье, какой-то скрип.

Зал театра будил у меня странное сравнение с огромнейшей глубокой могилой, куда правильными рядами положили множество людей.

Жуткое чувство еще более усиливалось во время репетиции, когда черная пустота зала таращилась на полутемную сцену пустым, бездонным зевом. Смотрит пусто, молчит и так странно, что пред ней люди шумят, смеются, кричат. Голоса кажутся неестественно промклыми, все люди юварят нарочито не те слова, двигаются не обычно и машут руками, точно испуганные слепые в поисках, за что бы схватиться.

Этот кошмар еще более углублялся бредовыми речами артистов; ходит по сцене длинный человек с лицом красного мертвенца, с погасшей трубкой в зубах и, разводя руками, точно плавая в полумраке, бормочет:

— Маргина, вы поставили меня на край пропасти—чего? Ага—стихи! Я знаю—мне спасенья нет!...

Красивая чернобровая женщина, сидя на стуле у кулисы, сердито кричит:

— Послушай, я здесь бросаюсь к твоим ногам, а ты уходишь от меня! Где же Кив?

— Он кинулся в уборную зачем-то.

А около суфлерской будки стоит маленький человечек без глаз и бровей, с круглым ртом окуня, стоит и тихонько, грустно, приятным голосом напевает:

Я — страдала,

Страдала

С моста в речку

Сиданула.

Чернобровая женщина сердито кричит ему:

— Перестаньте выть! Дальше, дальше, госпожа!

Из-за кулис высовываются чьи-то головы, выходят люди, исчезают, за кулисами стучат молотки, вбивая гвозди в сухое дерево, и что-то противно скрипит.

... Все это было мало понятно, порою нудно, но хотя все выдумывалось и составлялось при мне, на моих глазах, однако, иногда эта начочитая, фальшивая жизнь охватывала меня до того сильно, что и я тоже начинал ходить по земле, выпячивая грудь, нелепыми шагами петуха, говорил басом, отчеканивая слова, и все потирал лоб, как это делал один из артистов.

Влюбленные виконты и маркизы, несчастливцев, дон Сезар де-Базан, Карл Моор, разбойники, бояре, кучки и Квазимодо,—все эти плохо снятые кошель, полные звенящей медью романтизма, кружили мне голову, вызывали чувства, уже знакомые по книгам Разумеется, я уже видел себя играющим роль гениального Кина, и мне казалось, что я напел свое место Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений.

Если хочешь спокойно наслаждаться, — не заглядывай за кулисы!

Но моя роль неизбежно заставляла меня торчать за кулисами, и я слышал, как герой, только-что валившийся у ног возлюбленной своей в судорогах пламенной страсти, кричал на нее за кулисами:

— Какого дьявола у тебя булавки натыканы, где не надо!

А благороднейший отец, только-что оплывав на сцене свою несчастную дочь, шипел на нее, грозя пальцем:

— Ты опять роль не знаешь, дурында? Улыбаясь, она говорит:

— Ой, ты так хорошо играл, что я все забыла...

— Не твое дело, как я играл!

Дурында—маленькая, стройная женщина, синеглазая, молчаливая. Она смотрит на все прихурясь и недоверчиво, как будто люди и вещи непонятны, чужды ей. И ходит она осторожно, точно кошка. Как-то раз я застал ее в темном углу за сценой; прижавшись к стене, закрыв лицо руками, она тихонько плакала. Для за два до этих слез она так трогательно изобразила Эсмеральду, что я навеки влюбился в нее, и теперь, видя ее слезы, сам готов был певно плакать или, если она прикажет, избить обидевших ее.

Но я не смею подойти к ней, смотрю издали и думаю: хорошо, если бы театр загорелся! Когда все перебудет вон из не-

го.—я схватил бы ее на руки и вынес свихов огонь. Только бы вынести, а потом поклониться ей молча и так же величательно, как это делал актер Киселевский, поклониться и уйти куда-нибудь, унося в сердце великую радость на всю жизнь.

В Успеньев день играли дважды—утром какую-то феерию, вечером шла «Каширская старина». Усталые артисты были пьяны, играли весело—точно для самих себя, забыв о публике, а публика, невзирая в черном мешке, рычала и хохотала тоже как бы вне зависимости от сцены.

В антракте пьяненький Андреев-Бурлак, тощий и жалобно оменяной в костюме дьяка, потешал плотников шутками и анекдотами и всех без разбора звал после спектакля на Пески, в трактир, есть пельмени. Дама моего сердца, выжатая в яркий сарафан и тоже пьяненькая, сидела из связки каких-то веревок, смеяась, напевая.

Я не заметил, кто дернул веревки, видел только, как она, попутаяно взмахнув руками, опрокинулась на спину, видел высоко вскинутые ноги и огромные от испуга глаза. В следующий момент она, ловко повернувшись на бок, вскочила и гневно выпуталась грязными словами улиц и площадей.

Дивный хохот гремел вокруг нее, люди были зверьем от удовольствия.—она отлягулась и, подокочив к маленькому актеру в костюме каширского парня, ударила его по щеке. Ее схватили, смали, унесли в уборную.

А у меня утром заняло сердце, все вокруг стало противно мне, я решил уйти из театра и тотчас ушел.*).

«Каширская старина» с участием Андреева-Бурлака в ярмарочном нижегородском театре шла в августе 1882 года. Можно думать, что именно в это время—между службой у подрядчика строительных работ Сергеева и у хозяйки иконописной мастерской Салабановой—Горький испытывал себя на театре.

Изображенный им здесь Андреев-Бурлак—ныне основательно забытый, а в свое время очень известный актер и чтец, яркий представитель провинциальной актерской боемы. Сам будучи литера-

*) Из неизвестных материалов, переданных А. М. Горьким автору статьи.

тором, он имел и широкие литературные знакомства, по сообщению С. А. Толстой, он дал Толстому сюжет «Крейцеровой сонаты». Шумной известностью он пользовался в особенности в Поволжье, одним из наиболее популярных его чтений были «Записки сумасшедшего» Гоголя, он исполнял этот рассказ в театральной обстановке.

Что же касается пьесы, с которой началось знакомство Горького с театром, и рассказывал о которой он дал такую замечательную картину театрального быта в провинции—сведения о ней появляются в объявлениях «Нижегородского Виржевого листка» еще с 1878 года. Объявления эти были такого рода:

В большом каменном ярмарочном театре артистами драматической труппы под управлением П. М. Медведова представлено будет Христофор Колумб или Открытие Америки драма в 5 действиях, с прологом, в прозе и стихах, с хорами и танцами, соч. Листепа и Борре, перевод с французского А. Соколова (с новой обстановкой) новая декорация «Корабль в океане», писала г. Паулино.

Такие пьесы на языке театральных профессионалов того времени назывались «обстановочными мелодрамами». В афишах о них антрепренерами анонсировались: танцы, игры, пляски, провалы, полеты, разрушения и превращения. Обещались легкие духи, разные чудовища и тени. Представляя собою некое подобие и театра, и цирка, и народного балагана, такие постановки были хорошей приманкой для публики попрочее и давали иногда антрепренерам возможность поддерживать их сборами более серьезный репертуар.

Такие «драмы» по своим массовым сценам требовали, вероятно, большого количества статистов, поэтому-то набиралась она прямо с улицы. Сигалев, знакомый Горького тех лет, писал ему впоследствии: «... Вспоминается мне прием кувачинских мальчишек в театре. Видел раза два, как Андриушка-толстый (Баранов) плакал горькими слезами, когда его оставили от работы за его толстое брюхо».*)

ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ.

*) Из неизвестных материалов.